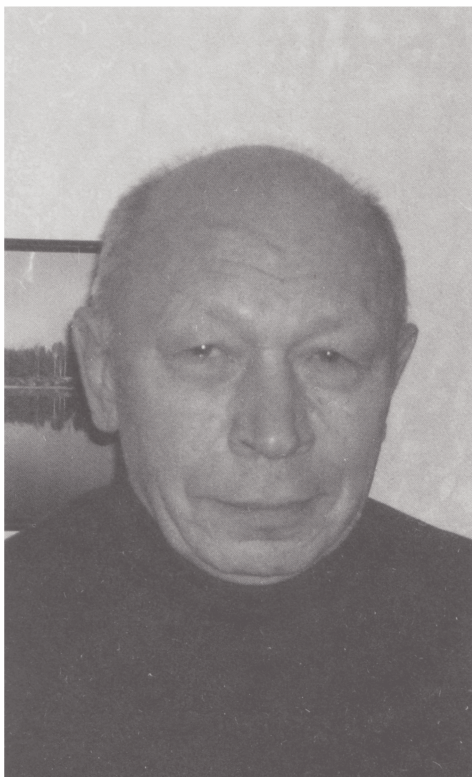


БИБЛИОТЕКА

“**ОГОНЁК**”



*Николай Дежнев*

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ТЕРРА»  
КНИЖНЫЙ КЛУБ

**Рассказы**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

*Издается с 1925 года*

---

НИКОЛАЙ ДЕЖНЕВ

РАССКАЗЫ



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»  
Москва — 2008

## ОБ АВТОРЕ

Николай Борисович Дежнев (настоящая фамилия Попов) родился 18 мая 1946 г. в Москве. Окончив в 1970 г. Московский Инженерно-Физический институт, работал инженером-физиком в НИИ оптико-физических измерений, а после окончания в 1975 г. Института патентоведения 6 лет трудился в Комитете по делам изобретений и открытий. В 1977 г. он поступил во Всесоюзную Академию внешней торговли, которую окончил в 1980 г., после чего работал сначала в Госкомитете по науке и технике, потом в Комитете ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене, а затем вновь вернулся в ГКНТ. С 1998 г. Николай Попов занимается литературной деятельностью, является членом Союза писателей России.

Наряду с опубликованными в литературных журналах рассказами, увидели свет следующие его романы: «В концертном исполнении» (этот роман переведен и опубликован в США, Германии, Франции, Испании, Голландии, Норвегии, Бразилии, Израиле, Сербии и трижды в России); «Год бродячей собаки»; «Прогулки под зонтиком»; «Русский синдром. Одиссея шпиона Колошина»; «Жизнь Жужжалина»; «Белый Городок», «Игра в слова», «Пришелец».

- © Издательский дом «Огонек»,  
внешнее оформление, 2008
- © Терра—Книжный клуб, 2008

## ЧИТАЯ ГОГОЛЯ

*Но что странно, что непонятнее всего, — как авторы могут брать подобные сюжеты...*

*Н. В. Гоголь. «Нос»*

Двадцать пятого марта — впрочем, дата неточна да и приведена, надо признаться, не к месту — Платон Кузьмич Ковалев проснулся довольно рано и по своей давешней привычке долго еще лежал, глядя в требовавший побелки потолок. Человек не то чтобы молодой, но и не старый, Платон Кузьмич во всем любил порядок, чем и славился в своем министерстве. Злые языки утверждали, будто бы и продвижение по службе Ковалев получил исключительно благодаря усердию и умению слушать людей, стоящих выше него по служебной лестнице, но никто в этом мире не гарантирован от сплетен, и ни одна страховая компания не оградит вас от домыслов и пересудов. К тому же разве есть в том плохое, что уважают людей, по жизни опытных и мудрых, и того не скрывают? Служил же Платон Кузьмич по ведомству культуры и развлечений, а может быть, и в Министерстве печати или, как его прозвали зубоскалы, печати и штемпельной подушки. Да это и неважно, все мы где-то служим, главное — человек был дельный и порядочный...

А потолок-то надо бы побелить, прикидывал в уме Ковалев, наслаждаясь ленивым покоем и приятной тишиной своей уютной двухкомнатной квартиры. Платон Кузьмич мог себе позволить никуда не спешить и даже припоздниться в министерство, поскольку все вплоть до швейцара знали, как много сил и времени отдает он работе в неурочные вечерние часы, когда присутствие пустеет и так славно бывает пошелестеть бумагами, чувствуя свою нужность и значимость. Вчера, правда, традицию засижи-

ваться допоздна Ковалев нарушил, но ведь не каждый день случается мальчишник, когда можно посидеть с приятелями, пропустить под хорошую закусочку рюмочку-другую. Говорили, помнится, обо всем подряд, о том, кто чего в жизни достиг и как бы расположились они, будь теперь в обиходе Табель о рангах. Ковалева ставили высоко, аж на восьмую ступень, а Колька — человек, между нами говоря, никчемный, но давешний приятель и знаток всяческой старины — еще и утверждал, что лет сто тому быть бы Платону Кузьмичу коллежским асессором и потомственным дворянином...

Вспоминать было приятно, перебирать этак в памяти подробности и изгибы разговора... только вдруг и совершенно неожиданно до Ковалева донесся какой-то звук. То ли чашку поставили на блюдец, то ли тарелку в мойку, но только в квартире явно кто-то присутствовал. Странно, подумал живший один Ковалев, может, я Кольку ночевать приволок? Ну конечно, напился вчера до поросычьего визга, ехать ему далеко... Однако проблема заключалась в том, что Платон Кузьмич помнил прошедший вечер прекрасно. Животный страх сдавил его грудь, и в животе, не при дамах будь сказано, возникло предательское чувство послабления. Газовый пистолет, соображал лихорадочно Ковалев, в левой тумбочке стола, да разве теперь он поможет... Стараясь не шуметь, Платон Кузьмич, как был босой и в пижаме, подкрался к двери и заглянул в едва заметную щелку — как раз вовремя, чтобы увидеть выходящего из квартиры мужчину. Тот был в лучшем его костюме и праздничном галстуке, надеваемом только по особым случаям, в руке держал новый ковалевский плащ и большой английский зонт, особую гордость Платона Кузьмича, приобретенный в Лондоне, в магазине тростей, что напротив Британского музея. Но самое страшное — мужчину этого Ковалев узнал! Узнал шестым чувством, узнал, как узнают нечто, тебе испокон веков принадлежащее. Да, да, узнал и весь разом похолодел! Рука сама собой скользнула в пижамные штаны. Волосы были на месте... но и только. Само же, с позволения сказать, место поражало, если не считать кудряшек, своей ровной гладкостью. Между тем входная дверь хлопнула, как бы подтверждая этим факт случившегося и где-то даже ставя в судьбе Платона Кузьмича жирную точку.

Кстати о точках и прочих знаках препинания!.. Вам, уважаемый читатель, все уже ясно, и со словами: да как он посмел покуситься на Николая Васильевича! — вы готовы с негодованием отложить книжку в сторону. Да нет, не отложить — зачем же смягчать? — отбросить или даже отшвырнуть! Позаимствовать литературный прием, и у кого! Ступить на скользкий путь пошлятины и поощрения низменных интересов! Да, согласен с вами — это чересчур! Я бы и сам поступил точно так же и не читал бы, да и не стал бы писать, но... «Кто что ни говори, — заметил в самом конце повести Николай Васильевич, — а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают». Поэтому если я, очевидец и старинный приятель Платона Кузьмича, об одном из таких не расскажу, то может случиться, что и никто не расскажет, чем будет поправлено исконное право моих сограждан знать без утайки всю правду. Ну а пошлости и излишнего натурализма — не обещаю, но по мере возможности попробую избежать.

Итак, держась одной рукой за стену, Ковалев прошел на кухню и накапал в стаканчик валокордина. Сердцем он никогда не страдал, но как человек обстоятельный и аккуратный кое-какие лекарства дома держал. Подкрепив таким образом пошатнувшееся здоровье, Платон Кузьмич отправился в ванную комнату, где обнажился и долго стоял перед зеркалом, разглядывая в задумчивости то, что было не так давно причинным местом. То есть местом-то оно и осталось, однако способность что-либо в этой жизни причинять, похоже, была утрачена навсегда. Странно это, думал Ковалев, напоминает плохой анекдот. Но факт оставался фактом, и с этим срочно надо было что-то делать. Платон Кузьмич еще в детстве прочел все необходимое и, хотя больше к этому не возвращался — нужды по работе не было, — прекрасно помнил раздел учебника, посвященный Гоголю, но то была литература, а в стекле напротив отражалась голая правда. Майору Ковалеву было, пожалуй, труднее, рассуждал Платон Кузьмич, не слишком, однако, уверенный, что не бредит, — нос вещь заметная, но десять раз еще подумаешь, что лучше!

В таком подавленном состоянии он и позвонил своему приятелю. Представьте себя на месте несчастного, и вы поймете, что ничего другого ему не оставалось, и дело тут не только в острой потребности человеческого тепла и участия. Разбуженный ни свет ни заря

Колька не выразил большой радости от общения с Ковалевым, но выслушал его внимательно и, как показалось Платону Кузьмичу, сочувственно.

— Говоришь, утратился? — пробормотал он наконец, зевая. — Нашел время шутить!

— Да какие могут быть шутки! — взвился не ожидавший такой черствости Ковалев.

На другом конце провода довольно долго молчали.

— Ты что, спишь там, что ли? — недовольно поинтересовался Платон Кузьмич.

— Думаю! — огрызнулся Колька. — Значит, так! Сейчас пойдем в милицию и сделаешь заявление по полной форме...

— Ну да, хочешь выставить меня на посмешище? — обиженно хмыкнул Ковалев.

— Ты лучше проверь, где у тебя вторые ключи от квартиры, — холодно ответил Колька: чувствовал, видно, гад, свое превосходство. Тем не менее был прав: запасных ключей на месте не оказалось. — Ну вот, а кто этот тип и чего он хочет, пусть уголовный розыск разбирается...

— Как «кто»? Я же тебе сказал! Узнал его по манере держаться, по повороту головы... Тьфу! — сплюнул Ковалев. — Короче, узнал, и все тут!

Колька тяжело вздохнул, но близко к сердцу слова приятеля не принял.

— Ну допустим... После милиции напрямик к моему знакомому врачу на освидетельствование...

— А это-то зачем? — изумился Ковалев.

— А затем, что в нашей любимой стране все, что не засвидетельствовано на бумаге, как бы и не существует. Никто не знает, в какую сторону повернется дело, и очень может случиться, что тебе понадобится документ. Кроме того, Арнольд Аскольдович блестящий диагност и очень приличный человек...

— Ты хочешь сказать, — переспросил Ковалев, — что врачебная тайна...

— О чем ты говоришь! — обиделся за Арнольда Аскольдовича Колька. — А я пока наведу справки и посмотрю, не было ли чего подобного в Интернете...



Хоть и без царя в голове, думал Ковалев, поспешно бреясь и одеваясь, а настоящий друг, совет дал дельный. Когда так вот припечет, невольно теряешься, тут-то и опереться на надежного человечка. Застегивая на брюках молнию, Платон Кузьмич испытал какое-то странное ощущение пустоты и только горько ухмыльнулся, прежде чем позвонить начальству и сказаться больным.

В отделении милиции, на счастье, никого, кроме дежурного и сержанта с автоматом, не было. Какие-то смурные типы дремали в обезьяннике за решеткой, да радио страдало народ последними отечественными известиями. Капитан был в возрасте, хмур и к задушевной беседе не расположен. Он глядел на гражданина печальными, знающими в подробностях жизнь глазами и думал о своем.

— Ну и чего вы от нас хотите? — вздохнул офицер, нисколько истории Ковалева не удивившись. — Вас, гражданин, пока не убили и не ограбили, а родственничек ваш, может, еще и вернется... — Капитан закурил сигаретку без фильтра и сплюнул табачные крошки на пол. — У нас норма три дня, только по прошествии объявляем в розыск...

— Но... — обиженный таким невниманием Ковалев не нашелся сразу, что ответить. — Мне кажется, случай не совсем обыкновенный, здесь надо принимать экстренные меры...

— Примем и экстренные, — охотно согласился капитан и провёл ладонью по прокуренным усам, — пусть только выйдет срок! А необыкновенного в вашем деле я лично ничего не усматриваю. Между нами говоря, случай где-то даже типичный, по моим наблюдениям, половина мужского населения страны ничего из себя не представляет, кроме как... — капитан привычно согнул в локте руку, после чего ею же махнул, — да и те по большей части спились. Ну а вы, пока суд да дело, приготовьте словесный портрет утраченного, фотографии, если есть, можно обзвонить всех, кто знал его лично... — Желтыми от табака пальцами милиционер затушил сигаретку в пепельнице и поднял на Ковалева глаза. — Приметы особые имеются?..

Платон Кузьмич в растерянности пожал плечами.

— Ну тогда дело дохлое, — вздохнул капитан и без энтузиазма добавил: — Приходите через три дня, тогда заявление и примем...

Но оставим капитана исполнять его нелегкую службу, у дежурного по отделению и без нас дел невпроворот, и обратимся к судьбе второго героя нашей истории, которого, признаюсь, испытываю затруднение как-либо обозвать. Хотел было, как в оперетке, «мистером Х», но после зрелых размышлений пришел к выводу, что получается довольно двусмысленно.

Как потом стало известно, герой этот... — хотя почему, собственно, «герой», что в нем такого героического? — короче, в новом ковалевском плаще прогуливался он по Тверской и оглядывал с некоторым даже высокомерием встречных женщин, пока не вышел на Триумфальную площадь имени Владимира Владимировича Маяковского. Как раз об эту пору там случился вялотекущий митинг в поддержку то ли партии, то ли какого-то движения, которые в преддверии выборов плодятся, будто кролики. Тут надо сказать, что время на дворе было самое для таких мероприятий подходящее, все примелькавшиеся по телевизору личности рвались со страшной силой в Думу, чтобы и дальше без устали шебаршиться в своих норках и мелькать, а посему созывали митинги и обещали на них народу золотые горы. Героя нашего — если задуматься, есть все-таки в его поступке что-то героическое, — так вот, героя нашего народное бдение заинтересовало, и тихой сапой он внедрился в скромную толпу мерзнувших у ног бронзового поэта людей.

Точно неизвестно как, но очень скоро этот настырный прощельга оказался на трибуне. Возможно, организаторы заранее готовили выступление «человека из народа», а он по нахалке занял его место, а может быть, и пользуясь природной наглостью и привычкой совать повсюду нос, протырился этот тип к микрофону и обратился к собравшимся с речью. И, что удивительно, вроде бы ничего нового и интересного не сказал, а люди слушали, будто замороженные, и не только те, кто явился на площадь по партийной необходимости, но и обычные прохожие, прогуливавшиеся как ни в чем не бывало по центру города с целью совершения променада. Толпа все росла и росла, так что гаишники вынуждены были перекрыть по Тверской движение, а в переулках замелькали пластиковые щиты и каски ОМОНа.

— Кто это? — спрашивали друг друга люди, смутно чувствуя в чертах оратора нечто до боли знакомое и невольно проникаясь к нему доверием. — Как глубоко он знает жизнь!

А тот все заводил и заводил толпу и уже бросал в нее лозунги, призывал взяться за руки, теснее сомкнуть ряды и не бояться все ускоряющегося ритма событий...

Впоследствии, когда к делу подключились компетентные органы и журналисты всех мастей выискивали и допрашивали с пристрастием свидетелей этого выступления, большинство из них не смогли вспомнить ни слова, но признавались, что испытывали огромное, граничащее с экстазом воодушевление.

Что было потом?.. Газеты об этом писали, но как-то неотчетливо, полунамеками. Вроде бы сразу же после митинга к оратору бросились с цветами женщины, но их оттеснили какие-то люди, которые и увезли его в неизвестном направлении. Впрочем, и направление было известно, и то, что происходило дальше, не стало по большому счету ни для кого секретом. Знающие люди утверждали, что буквально через час где-то в центре города состоялась встреча этого, о котором идет речь, с лидером митинговавшей партии, срочно вызванным помощниками по телефону. Стенограммы беседы, естественно, не существует, но один из ее участников пересказал, о чем шла речь, своим знакомым, а те уже себя не сдерживали и, как водится, пустили, приукрасив деталями, байку в народ. Если верить циркулировавшим по столице слухам, привыкший к публичным речам лидер обрисовал в очередной раз бедственное положение страны и ничтоже сумняшеся предложил гостю пополнить собой ряды возглавляемой им партии.

— Нам нужен человек, способный повести за собой массы, — сказал он твердо. — Последний харизматик часть своей харизмы пропил, а часть взял деньгами, других же нет и в ближайшее время не предвидится. У вас же...

Слушавший его наглец счел возможным уважаемого человека перебить.

— С харизмой у меня все в полном порядке! — заявил он безапелляционно. — Но быть в вашей компашке простым членом?..

— Нет проблем! — поторопился заверить его лидер, на которого скрытое обаяние наглеца уже возымело действие. — Поставим ваше имя в первом десятке партийного списка...

Затем, по сведениям источников, близких к осведомленным, стороны перешли непосредственно к торговле, в ходе которой называ-

ли все своими именами и этому всему определяли цену в рублях и в свободно конвертируемой валюте...

Тут, уважаемый читатель, я должен прервать свое повествование и просить у вас прощения! Нет, не за то, что, пересказывая содержание беседы, подрываю веру в человеческую порядочность и бескорыстие — к этому мы давно привыкли, а за наметившуюся фрагментарность моего рассказа. Как вы, наверное, уже заметили, все случившееся с господином Ковалевым я знаю из первых рук и описать способен едва ли не документально, в то время как о похождениях того, второго, могу судить лишь по рассказам общих знакомых да по газетам, а они, как известно, и соврут — недорого возьмут. Поэтому, ежели я что-то от себя и домыслил, то не из желания прихвастнуть своей осведомленностью, а от потребности представить вашему просвещенному вниманию картину случившегося в живых красках и во всей ее полноте.

Что ж до несчастного Ковалева, мы, помнится, оставили его в районном отделении милиции в состоянии прострации. К незавидному положению Платона Кузьмича следует добавить, что и Арнольд Аскольдович не сразу его принял, день профессора был расписан буквально по минутам, и бедняге пришлось маяться до вечера, меряя шагами замкнутое пространство своей квартиры. О чем все это время думал Платон Кузьмич? Наверное, нетрудно догадаться. В тяжелые минуты человек обращает свои мысли к Создателю, а умный человек еще и пытается переосмыслить свою жизнь, и это вовсе не предмет для досужих шуточек и хихиканья, которые в создавшейся ситуации совершенно неуместны.

«Почему именно я? — думал Ковалев, глядя себе под ноги и круто разворачиваясь, стоило ему пройти из угла в угол восемь шагов. — А может, и не я один такой, может, остальные потерю скрывают? Может, имя нам легион? Рождаемость в стране опять же падает... — Но что-то внутри подсказывало Платону Кузьмичу, что догадка его неверна. — Тогда в чем причина? Словом этим в быту злоупотреблял и тем накликал на себя беду? — мысль заставила Ковалева замереть на месте. — Опять нет! — продолжил он шагать. — Будь такое предположение правдой, русский народ вымер бы сразу же по выходе из татаро-монгольского ига, а то и до того... Но тогда что?»

В таком взвинченном состоянии Ковалев и предстал перед светлые очи медицинского светила. Арнольд Аскольдович оказался человеком относительно молодым, едва перевалившим за пятьдесят, с усталыми, но живыми глазами и привычкой сосать леденцы.

— Звонил Колька, звонил... — басил он дружелюбно, провожая пациента за ширму. — Давайте, батенька, раздевайтесь, посмотрим, что там стряслось...

Однако профессионально бодряческий тон его как-то разом увял, стоило Платону Кузьмичу появиться перед профессором в виде, пригодном для осмотра. Арнольд Аскольдович хмурился, надевал и тут же снимал блестящие, в золотой оправе очки и наконец озадаченно протянул:

— М-да-а... странны дела твои, Господи! — Потом, как будто спохватившись, поправился и даже ободряюще похлопал Ковалева по плечу: — Будем думать, случай интереснейший...

И хотя в отличие от капитана милиции уникальность Платона Кузьмича профессор признал, пациенту от этого легче не стало.

— Сначала сдадим все анализы, — продолжал Арнольд Аскольдович, когда уже одетый Ковалев подсел к его рабочему столу, — проведем с коллегами необходимые замеры, созовем, если надо, консилиум...

— Да на ... мне ваш консилиум! — взорвался вдруг Платон Кузьмич, но тут же понял, что погрешил против правды. Продолжал уже просительно, понимая свою нетактичность: — Жить-то мне как, Арнольд Аскольдович? Должно же у вас быть хоть какое-то элементарное объяснение?..

— Ну объяснение-то всегда найдется... — задумчиво заключил профессор. — Если бы в объяснении было дело... Вполне возможно, произошел некий сбой, природа ошибочно заключила, что исчезнувший орган следует считать атавизмом, и от него избавилась. Вероятно, вы, как бы это сказать, недоиспользовали возможности утраченного...

— Да вроде нет, профессор, — пожал плечами Ковалев. — В этом тоже проблема: что я теперь скажу Полине Францевне...

Арнольд Аскольдович бросил в рот очередной леденец и продолжал рассуждать:

— Опять же ящерицы в опасных ситуациях отбрасывают хвост, а потом он у них отрастает...

— Вы считаете, есть шанс? — спросил Ковалев с надеждой.

— Гарантию дать не могу, но в природе не бывает ничего случайного, так что будем наблюдать...

Платон Кузьмич совсем пал духом, сидел, уставившись в пол, на белые плитки медицинского кафеля. В стеклянных шкафах блестяли инструменты, пахло лекарствами и почему-то камфарой.

— Ну, не огорчайтесь так, — попытался подбодрить его профессор. — Еще ничего не ясно, в конце концов всегда остается шанс податься в транссексуалы, тем более что значительная часть работы, можно сказать, уже выполнена. Есть такие, кому нравится...

Ковалев поднял голову и посмотрел на Арнольда с плохо скрываемой ненавистью, но наблюдаться у него согласился. Да и выбора, в общем-то, не было.

Следующий месяц прошел для Платона Кузьмича в хлопотах. Анализы показали совершеннейшую его норму, так что многие врачи даже удивлялись, как Ковалеву удалось сохранить такое здоровье, живя в столице нашей родины. У пациента было давление как у пионера-ленинца, анализ крови, словно списанный из учебника для начинающих медсестер, зрение как у ворошиловского стрелка, вот только печаль поселилась в сердце Платона Кузьмича, и в министерстве этого не могли не заметить. Не так энергично, как бывало, говорил он теперь по телефону, бросил привычку заглядывать в глаза начальству, а однажды на ответственном совещании заявил, что не согласен с мнением министра, чем особенно удивил присутствующих. И в баню с приятелями перестал ходить, и на женщин смотрел с какой-то внутренней тоской, а когда Колька в очередной раз брал у него в долг деньги, заявил, будучи трезвым, что якобы лучше стал понимать смысл жизни. Трудно сказать, что конкретно Платон Кузьмич имел в виду, но Кольке деньги нужны были до зарезу, и он поостерегся вступать в дискуссию. Лучше так лучше, кто бы стал возражать!

— Знаешь, — говорил Платон Кузьмич грустно, — я будто старше стал на четверть века, отпала необходимость суетиться, искать чего-то, метаться... И что удивительно и странно: Полина Францева меня не бросила...

Кольке это было не понять. В Интернете, хоть и обещал, он ничего по интересующему вопросу не нашел, так что и приятеля ему порадовать было нечем. Правда, в самом конце месяца в продажу с помпой выкинули книгу одного начинающего политика «Поднявшийся

в ночи» с фотографией автора на обложке, но Колька не знал и никак для себя не мог решить, стоит ли привлекать к ней внимание Платона Кузьмича. И вовсе не потому обуревали его сомнения, что книжонка была написана литературными рабами, а названием косила под нобелевского лауреата Жозе Сарاماго, — не знал Колька, как эта новость может на Ковалева повлиять.

Не дремал на своем профессорском посту и Арнольд Аскольдович. В институте экспериментальной травматологии он создал и возглавил отдел природных аномалий, был избран член-корреспондентом Медицинской академии наук и набрал группу аспирантов, усердно эксплуатирующих тематику естественного отпадения отдельных человеческих органов и членов. Платона же Кузьмича мучили все это время иглотерапией, витаминной агрессией и даже успели заказать специальный мощный лазер для воздействия на биологически активные точки подопытного. Единственным приятным моментом в лечении был еженедельный общий массаж, но и тут со временем Ковалев начал подозревать, что массажистка — скрытая лесбиянка.

Поэтому к нагрянувшим выборам Платон Кузьмич отнесся, как и вся уставшая страна, с редкостным равнодушием. Кто-то считает такую пассивность оправданной, кто-то негодует и не устает призывать, но только на этот раз было в многомиллиардном шоу и нечто примечательное. Совершенно неожиданно и вопреки предсказаниям тех, кто называет себя гордым именем «политолог», в гонке за депутатскими мандатами вперед вырвалась совсем не та партия, на которую у букмекеров делались ставки. В газетах и на экране телевизора замелькали новые лица, причем одно из них чем-то неуловимо напоминало... Впрочем, с такими вещами надо быть чрезвычайно аккуратным. Одна желтая газетенка не сдержалась, и ей тут же вчинили приличный иск, а этого не хотелось бы. Заметил такую похожесть и Ковалев и долго колебался, прежде чем записаться к депутату на прием. На что он рассчитывал в стране, где возможны Указ Президента номер один и ситуативная презумпция невиновности, сказать трудно, но, по-видимому, какие-то надежды Платон Кузьмич, идя на встречу, питал. Она состоялась в бывшем здании Госплана на Каретном, в кабинете со смазливой секретаршей и готовым к услугам помощником. Хозяин кабинета сидел на фоне российского флага и просматривал бумаги, на Ковалева глянул мельком и лишь указал рукой

на кресло у стены. Платон Кузьмич как-то сразу растерялся, и если и опустился на указанное место, то на самый краешек, и пальцы начал крутить, как это делают люди робкие и нерешительные.

— Ну-с, какое у вас ко мне дело? — спросил после долгого молчания депутат, откидываясь на высокую спинку вращающегося кресла. — Помощник докладывал, что вы по личному.

Ковалев заволновался, лицо его пошло красными пятнами, на лбу выступили капельки пота.

— Милостивый государь, — начал он выпренно, совершенно того от себя не ожидая, — я, с позволения сказать...

— Что вам угодно? — перебил его депутат. — Говорите коротко, у меня дела.

Платон Кузьмич откашлялся.

— Право же, странно, что цель моего визита вам не понятна. В сложившихся обстоятельствах, в которые ваш уход меня поставил, сами посудите, какова теперь моя жизнь...

Депутат отложил в сторону ручку с золотым пером и строго посмотрел на посетителя.

— Ни слова не понимаю, извольте толком объясниться.

Ковалев выпрямился в своем кресле и, собрав волю в кулак, произнес:

— Хорошо-с! Если не понимаете намеков, то я прямо скажу, вы, милостивый государь, мой... — Тут он короткое мгновение поколебался, после чего уже не сдерживал и тень на плетень не наводил.

Депутат выслушал эту эмоциональную речь совершенно спокойно, на его лице не дрогнул ни один мускул.

— И вы хотите, — спросил он почти любезно, — чтобы я, так сказать, к вам вернулся?

— Именно! — подтвердил Ковалев.

После этих слов в кабинете наступило довольно долгое молчание, нарушаемое только ходом напольных часов и постукиванием по полировке стола выбивавших дробь депутатских пальцев.

— Все-таки удивительно, — вымолвил он наконец, — насколько мы, русские, эгоистичный народ. Вы явились сюда, в Государственную думу, со своими требованиями и даже не подумали, какой урон можете нанести стране и государству. Допустим — я сказал «допустим»! — я пойду вам навстречу, но тогда встанет вся работа! Что



вы думаете, — продолжал депутат, распаяясь, — мы тут груши околачиваем? Я, к примеру, как руководитель подкомитета готовлю в настоящее время проект закона о повышении в стране рождаемости, а вы со своими надуманными претензиями мне мешаете. Теперь в качестве альтернативной службы молодые люди будут обязаны ... с каждой из женщин детородного возраста, которая того пожелает, а в случае отказа, — выкинул он руку с указующим пальцем, — отправляйтесь, голубчики, на действительную!

Депутат энергично поднялся на ноги и стал ходить по устилавшему пол кабинета ковру. Говорил воодушевленно, со сдержанным гневом и отработанным пафосом:

— Понимаете ли вы, что это значит для страны! Нет, вам это совершенно безразлично, и мне стыдно за вас как за гражданина и человека! Отказываться пожертвовать таким пустяком на благо родины!..

Он сделал паузу, и Ковалев, хоть по части пустяка и не был с ним согласен, хмуро потупился. Депутат тем временем остановился непосредственно перед Платоном Кузьмичом и вдруг, понизив голос едва ли не до шепота, почти задушевно сказал:

— Сами, дорогой мой, рассудите, если я соглашусь, то тем самым создам прецедент, а это весьма негативно скажется на законотворческой деятельности...

Сидевший понуро Ковалев вскинул голову.

— Вы хотите сказать?..

Но депутат уже вернулся к прежнему назидательному тону, словно и не было этого небольшого отступления. Он тряс Платону Кузьмичу руку и незаметно, но весьма настойчиво провожал его к дверям.

— Мы все должны чем-то жертвовать ради будущего процветания отечества, и я признателен вам за понимание этой суровой необходимости, — говорил он, уже откровенно подталкивая Ковалева в спину.

Вот, в общем-то, и все, этим эпизодом можно было бы и закончить мое повествование, потому что судьба несчастного Платона Кузьмича решила окончательно и добавить по существу больше нечего, но, как писал Николай Васильевич в «Шинели», из которой все мы вышли, а многие в ней так и остались: «Бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание».

Шел месяц июль или даже август, когда Колька пришел к Платону Кузьмичу вернуть должок. Выпили, как принято, по рюмочке, за жизнь поговорили, и вдруг Ковалев задумчиво так молвит:

— Слушай, а может, мне жениться, а?..

Колька, потомственный интеллигент, помялся, но в известных обстоятельствах тему эту развивать поостерегся. Странно как-то, размышлял он, с чего бы это Ковалеву пришла в голову такая мысль, но только слышит, будто приятель его ему что-то рассказывает.

— Вечер дышал теплом, — говорил между тем Платон Кузьмич, — аромат цветов плавал в тихом воздухе, мы с Полиной Францевной прощлись по парку, потом выпили при свечах вина, и как-то так все само собой получилось...

Колька насторожился и для свежести восприятия помотал из стороны в сторону головой.

— Что получилось?

— Все получилось, совсем все, и очень даже неплохо...

— Как это? — удивился Колька. Он даже начал делать руками какие-то странные движения, как если бы они могли помочь ему понять суть процесса. — Неужели вернулся?

— Ну! — улыбнулся Платон Кузьмич и потянулся к бутылке, чтобы отметить это событие. — Любовь — она творит чудеса!..

В тот же день все российские газеты, не говоря уже о радио и телевидении, подняли по случаю пропажи депутата страшнейшую шумиху. Подозревали левых и правых, центристов и маргиналов и даже Лигу защиты сексуальных меньшинств, поскольку готовящийся закон не делал уступок для призывников нетрадиционной ориентации. Дума вызвала для объяснений министра внутренних дел, расследовать происшествие назначены были три комиссии, но потом вдруг, как это у нас и бывает, все средства массовой информации разом, словно по команде, о случившемся позабыли и занялись новой подроспевшей неприятностью. А может быть, кто знает, команда сверху и была, остались же там умные люди, кто понимает, что о многом народу лучше бы и не знать, и это правильно. Все вроде бы улеглось и успокоилось, только не переставая звонил Арнольд Аскольдович, но Ковалев был тверд и от предложенной тайной операции, как от научной фальсификации, отказался. А где-то через пару недель под вечер заглянул к Ковалеву молодой человек и, представившись следователем прокура-

туры, попросил ответить на ряд вопросов, однако — удивительное для прокурорского работника дело — вопросов не задавал, а как-то долго мялся, прежде чем выдал из себя несколько слов:

— Скажите, Платон Кузьмич, честно, без протокола, — это правда?

Ковалев, как человек в таких делах опытный, съевший на бюрократическом поприще не одну собаку, прямого ответа не дал, а лишь спросил:

— Показать?

Следователь почувствовал себя неудобно.

— Ну что вы, зачем так сразу... Начальство дергается, а то я бы вас и беспокоить не стал... Покажите.

Ковалев показал, но снимать не разрешил, поскольку фотография — это документ, а так ни ... короче, ничего к делу не пришьешь. На том и расстались, и последствий визит следователя не имел, если не считать того, что из министерства Платона Кузьмича все-таки уволили. Впрочем, прокуратура тут, скорее всего, ни при чем, она и не в такие дела не вмешивается, а уж до какого-то там Ковалева, как до Акакия Акакиевича Башмачкина, ей и подавно дела нет. Тут вся загвоздка, надо полагать, в заместителе министра по кадрам, уж больно принципиальный попался человек. «У нас, — сказал он Платону Кузьмичу, — чиновник не может сочетать профессиональную партийную работу с государственной службой, если на то нет особых указаний, у нас, как в Англии, с этим строго». И как Ковалев ни объяснял, что вовсе он не членствует, а если и членствует, то не то чтобы он, как ни напирал на то, что дело это прошлое и быльем поросло, значительное должностное лицо в прения вступать не пожелало. Да оно, если задуматься, и к лучшему, не должность красит человека, не в ней счастье, и Полина Францевна это мнение разделяет.

Так и закончилась эта история, и вспоминаю я о ней с приятным, теплым чувством человека, пусть косвенно, но к счастливому исходу причастного. А тут на днях встретил в буфете Дома литераторов, что на Большой Никитской, в подвале, одного критика, так он утверждал, будто бы читал между строк в воспоминаниях Анненкова, что изначально Николай Васильевич собирался вывести в герои вовсе даже не нос, но, честно признаюсь, я ему не поверил.

*Октябрь 2003, Москва*

## ЛЮБОВЬ

*Утомленное солнце  
Нежно с морем прогналось...*

— Анюта, ну почему я такой грустный? — Петрович вбегал в комнату по несколько раз на дню, опускался в стоявшее у двери обшарпанное кресло и смотрел на женщину долгим влюбленным взглядом. Женщине было двадцать лет, она носила короткую, по моде, стрижку и дома, не на людях, курила тонкие дамские папиросы. Папиросы эти приносил ей Петрович, она благосклонно принимала подношение, но на этом их наметившееся в мечтах ухажера сближение и кончалось. Впрочем, Анюта курила не по-настоящему, а только пускала клубы белого дыма, отставляя при этом тонкий точеный мизинец. Она была круглолица, плотна телом и легка в движениях. Петрович смотрел на нее и таял. Его рано польсевшая, гладкая, будто полированная голова покрывалась испариной, щеточка усов теряла бравый вид. Он часто вытирал голову большим клетчатым платком и потом долго еще мял его в руках, не находя ему, впрочем как и себе, места. На дворе стоял жаркий и душный август. Все в природе замерло, будто боясь нечаянным движением нарушить шаткое равновесие, переполнить чашу терпения притаившейся осени. Уже темнело рано, и на улицах зажигались редкие желтые фонари. Из открытых окон неслись томные, волнующие звуки модного в ту пору танго, и светлые силуэты пар медленно таяли в ночи.

— Вы уже старый, Петрович, — говорила Анюта, растягивая слова, — вам уже за тридцать... А правда, — зажигалась она, — сколько вам лет?

— Тридцать шесть, — сознавался Петрович, отчетливо понимая, что этим подписывает себе смертный приговор.

— Вот видите! — Анюта с искренним возмущением всплескивала руками и поднималась с дивана, где любила сидеть, поджав под себя полную, прекрасной формы ногу. — Я могу понять — тридцать один, ну от силы тридцать два, хотя нет, это уже слишком много... Нельзя же так, в конце-то концов!

Она возмущенно пожимала пышными плечами, искренне не понимая, как вообще можно о чем-то говорить в таком преклонном возрасте. Легкая материя кофточки поднималась вверх, обтягивая плотные, зрелые груди, от чего Петровичу становилось совсем плохо. Он закрывал глаза и почти стонал:

— Но ведь люди живут долго...

— Это недоразумение! — с легкостью парировала Анюта. — Люди, — наставительно продолжала она, расхаживая между окном и буфетом, — должны жить до двадцати пяти, в крайнем случае до тридцати! Дальше — тлен!

Ей нравилось слово «тлен», как нравилось чувствовать себя молодой, красивой и любимой. Когда она поворачивалась, ее простая коричневая юбка развевалась, обдувая Петровича ласковым ветерком. Он вставал с кресла, откашливался и делал ей очередное предложение. Анюта смеялась, игриво заглядывала в глаза, но прямо не отказывала, оставляя несчастному слабую надежду.

— Хорошо! — говорила она, останавливаясь напротив и упирая руки в крутые бока. — Я выйду за вас замуж, если вы сейчас же, не сходя с места, расскажете мне, что такое любовь! А, не знаете! — торжествовала Анюта, не давая Петровичу раскрыть рот. — А я знаю! Любовь — это когда тебе хорошо и когда будет хорошо и еще лучше!

Петрович отчаянно мотал головой, боясь возразить своему боже-ству и тем не менее не в силах согласиться.

— И не спорьте, я точно знаю! — Она со значением выставляла указательный палец.

— Анька! Выходи! — Голос влетал через открытое окно и принадлежал Петру Евсееву, а попросту Петьке, любимцу всего района, игравшему вратаря в местной футбольной команде. В тот далекий август шансы команды и Петьки стояли высоко.

— Ша-а! — Анюта ложилась животом на подоконник и смотрела вниз. Петрович тяжело сглатывал. Потом она сбегала по круглым

деревянными ступенькам, а он шел в свою комнату через длинный, заставленный хламом, пропахший запахом стирки коридор. Открыв ключом дверь, Петрович проходил прямо к окну и замирал там, с болью в сердце наблюдая, как, ухватившись под ручку, Петька с Анютой медленно шествуют через запыленный двор. В то лето Петька на зависть всем носил голубую, с отложным воротником рубашку, белые широкие брюки и такие же белые, парусиновые, чищенные зубным порошком полуботинки. Его кудрявую голову украшала кепка, точь-в-точь такая же, как у Петровича, только порядком захватанная. Петька был пижон и стоял в ней в воротах, ему было все нипочем. Петрович вздыхал, смотрел им вслед и понимал, что дело его труба. Лето проходило, отпуск кончался...

Потом пошли дожди. Осень началась сразу, спеша взять свое у застоявшегося лета. Петрович ходил на работу, засиживался там допоздна, впрочем как и многие в то время, и любовь его не то чтобы забылась, а, скорее, превратилась в подобие сердечной боли, что всегда с тобой. Она была до стеснения в груди щемящей, и ожидание стало для него слаще самих встреч. Он привык ежеминутно ощущать это чувство, ощущать как потерянный галстук, как кошелек в кармане.

В один из таких поздних дождливых вечеров, возвращаясь с работы, Петрович встретил в трамвае Анюту. Она сидела у окна, отвернувшись от всего мира, и не отрываясь смотрела на мокрую улицу. Получив у кондуктора билет, Петрович протиснулся вперед, в середину вагона, и стал так, чтобы ему было видно ее лицо. Вожатый дал звонок, и они поплыли по городу, раскачиваясь на поворотах. Дождь хлестал в окно, пахло мокрыми деревьями и волглой одеждой. Петрович все смотрел и смотрел на Анюту, не в силах оторваться. Странное чувство охватило его, он отчетливо понимал, что это — прощание и уже ничего нельзя изменить. И она, будто почувствовав, как пусто и тоскливо стало у него на душе, вдруг повернулась и посмотрела прямо на него. И столько покоя, такое полное приятие мира прочел он в ее взгляде, что вдруг почувствовал себя рядом с ней мальчишкой. Не мигая и не улыбаясь, Анюта смотрела на Петровича, он смотрел на нее, и вся жизнь, вся его горькая жизнь комом подкатила к горлу. В следующее мгновение все рассыпалось, кондуктор, простуженно кашляя, прохри-

пел их остановку, и Анюта, восторженувшись, начала пробираться к выходу.

Не сговариваясь, они пошли рядом, а дойдя до подъезда, остановились. Дождь поливал нещадно, тусклая желтая лампочка под жестяной тарелкой-абажуром раскачивалась на ветру. Ни слова не говоря, Анюта обняла Петровича за шею, привлекла к себе и поцеловала в холодные губы. Потом оттолкнула, окинула взглядом всю его сутулившуюся мокрую фигуру и скрылась за дверь. Совершенно обалдев и растерявшись, Петрович остался стоять под дождем.

Вскоре после этого Анюта исчезла. По прошествии многих лет он уже не мог вспомнить, как это произошло, ее просто не стало рядом. Потом он как-то жил, а еще потом началась война...

Не так давно в тенистых аллеях Тимирязевского парка еще можно было встретить благообразного ухоженного старика, обликом напоминавшего известный портрет Мичурина. Встречая знакомых — а его здесь многие знали, — он приподнимал широкополую коричневую шляпу и улыбался из-под щеточки седых усов.

К обеду старик возвращался домой, сел на табурет в белой, очень простенькой и чистенькой кухоньке и, положив перед собой легкие, в коричневых пятнах руки, чинно ждал, когда Александра подаст ему тарелку супа. Аккуратно зачерпывая прозрачную жидкость, он подносил ложку ко рту, держа ее над куском хлеба так, чтобы случайные капли, падая, впитывались в мякиш. Поев и утерев усы и рот салфеткой, старик брал газету и устраивался в комнате на диване.

— Почитаю немного...

— Читай, Петрович, читай — Александра прикрывала дверь, а минут через пять заходила снять с его носа сползшие очки и укрыть пледом: старик спал как ребенок, тихо и светло.

Иногда приезжал с семьей сын. Александра с невесткой занимались обедом, а мужчины шли в парк. Сын играл в волейбол, а Петрович сидел на скамейке и смотрел за внуком, гонявшим вокруг на трехколесном велосипеде и ни в каком присмотре не нуждавшимся.

— Деда, а деда! Ты бабу Шулу любишь? — Васька сделал круг и нажал на дребезжащий звонок.

Петрович наклонился к малышу, погладил его сухой, сморщенной ладонью по курчавой голове.

— Люблю, Васенька, люблю.

— А мама говорит, ты ее жалеешь...

Отобедали. На город спустился вечер. Легкий августовский туман, предвестник осени, лег на землю. Молодые уехали, Александра, нахлопотавшись за день, ушла спать, и старик остался на кухне один. Он долго сидел, пусто глядя перед собой, потом встал, стараясь не шуметь, открыл буфет и достал начатую бутылку кагора. Налив себе рюмку, подошел к окну и так замер, глядя вниз, где за трамвайными путями горели в сквере фонари. На холме, за озером, темнел силуэт сложеного из бревен терема, к которому они с Васькой давно уже собирались сходить.

«Деда, а деда! Ты бабу Шулу любишь?..»

С войны, если не считать контузии, он вернулся целым и невредимым. Только вот к изначальной животной радости, что выжил, примешивалась какая-то душевная пустота. Ему казалось, что вся жизнь прошла там, до войны, и как дальше жить, было неясно. В то время ему часто вспоминалась Анюта. Несколько раз на улице он бежал, нагоняя прохожих женщин, но каждый раз обозначался. Умом он понимал, что прошли годы, трудные и беспощадные, но все же видел и искал ее прежнюю. Анюта вспоминалась и потом, но уже не было у него той боли потери, того безумного желания-надежды встретить ее. От старого дома у Пресненской заставы остались одни развалины. Петрович стоял, смотрел на груды битого кирпича и понимал, что у него нет сил начинать все сначала...

С Александрой они сошлись просто, обыденно, без особых иллюзий и взаимных признаний, а когда она забеременела, расписались. Теперь, оглядываясь назад, он с трудом мог различить прожитые годы. Все слилось, и казалось, что все понедельники слиплись в один большой понедельник, за которым шел такой же тягучий и бесконечно длинный вторник... А теперь вот воскресенье, неделя кончается. Он удивился, как давно живет на белом свете. «Но ведь люди живут долго...»

Петрович улыбнулся в усы. Потом ему вспомнилось, как втроем они ходили в Парк культуры, катались на водном трамвайчике по Москве-реке. Сын сидел рядом, у борта, а Александра напротив, и они плыли под мостами. Он увидел Александру на пыльной, белой от солнца дороге: она стояла в красном, в горошек, сарафане, и было



это в то лето, когда они ездили в деревню к ее тетке. Петрович вспомнил тот день, вспомнил все, до удушливого запаха сеновала и далеких звезд, смотревших на них через дырявую крышу. А наутро они поднялись рано и пошли за грибами...

Петрович опустил на табурет, налил себе вторую рюмку. Внизу прогромыхал трамвай. Воровато поглядывая на кухонную дверь, старик достал из кармана длинный мундштук и, разломив пополам сигаретку, закурил. Он сидел так долго, а когда встал, пол заходил у него под ногами. Ведя рукой по стене, Петрович прошаркал в комнату и остановился у дивана. Александра спала, и лунный свет освещал ее лицо. Оно казалось Петровичу бледным, окаменелым.

— Саша! — позвал он.

Александра не шелохнулась.

— Саша!

Старик наклонился, прикоснулся к ее плечу.

— А? Что? — Она встрепенулась, села на диване. — Тебе плохо, Петрович?!

— Нет, нет, спи... Это я так.

Он пересек комнату, опустил на кровать, разделся и, откинувшись на подушку и уложив ноги, натянул на себя одеяло.

— Опять ведь курил... — пробормотала Александра, засыпая.

— Спи, Саша, спи... — Петрович закинул руки за голову и принялся смотреть в окно, где над крышей соседнего дома висела полная луна.

## СЧАСТЬЕ

В Лондоне, на Бейсуотер-роуд, по воскресеньям выставляются художники. На высокой ограде Гайд-парка появляется множество картин, превращая оживленную улицу в филиал Национальной галереи. Развесив, расставив, разложив свои сокровища, художники устраиваются в прижавшихся к тротуару машинах и принимаются за обыденные дела. Кто завтракает, уткнувшись в пристроенный на руле детектив, кто играет в кости, а кто и просто дремлет, пригревшись на выглянувшем солнышке. Нескончаемый поток людей лениво движется по тротуару. Смотри сколько хочешь — покупать не обязательно.

Здесь можно найти все, начиная с нежных, элегических лондонских акварелей и кончая портретами кошек, способными своим незамысловатым исполнением украсить любой провинциальный базар России начала пятидесятих годов. Здесь, как масти в колоде, соседствуют оранжевые на бархатно-черном фоне тигры и все в пороховом дыму морские сражения, угловатые, в три цвета примитивы и скрупулезно-тщательное, в стиле старых мастеров, письмо. Здесь уживаются классика и авангард, работа кистью и еще не получившее название направление, последователи которого находят вдохновение в разломанных часовых механизмах. Именно из их частей, всевозможных винтиков и шестеренок, художники создают свои панно, призванные запечатлеть Вестминстер с не переменным Биг Беном или автомобиль, у которого вместо колес два больших циферблата. А рядом, на самодельных стеллажах, стоят, раскинув крылья, полурыцари, полулетучие мыши и собранный из болтов и прочего хлама философ тычет в небо свой указующий железный перст. Все здесь живет, играет, радуется глаз. А за решеткой — олицетворение Англии — простираются зеленые пространства Гайд-парка.

В тот весенний день я прощался с Лондоном. Самолет улетал ближе к вечеру, и в моем распоряжении оставалось целое воскресное утро. Оно было холодным, это утро, и редкие группки туристов на Спикерс-корнер грустно замерзали в ожидании хоть какого-нибудь оратора, готового поделиться с ними глобальными идеями. Не в силах устоять перед зрелищем британской демократии, я тоже свернул с Бейсуотер-роуд и, пройдя несколько сотен метров по дорожкам Гайд-парка, присоединился к толпе. Ждать пришлось недолго, ораторов появилось сразу двое. Первый, низкорослый и кривоногий, светливый выходец с юга Британского Содружества, призывал народ к вере. Он орал и кривлялся, и тут же из толпы выступили три подночного вида парня, начавшие его дразнить и подначивать. Оратор злился, замахивался на обидчиков, но те не отступали, и у зрителей создавалось впечатление, что четверка эта — одна компания, явившаяся поразвлечь досужих туристов. Второй оратор, худой, длинный и тоже носатый, по выговору лондонец, обращался к слушателям с деревянной трибуны. Ему было порядком за шестьдесят. Старик говорил обо всем сразу, не был особо высокого мнения о правительстве и не делал различия между русскими и американцами. Он активно жестикулировал, размахивал руками, а иногда сходил по ступеням вниз и опускался на колени, демонстрируя этим покорность народа власти имущим. Три хулигана попытались фигулярствовать и тут, но, не найдя поддержки, быстро увяли и ретировались.

Слушая сбивчивые и пространные рассуждения старика, я тем временем наблюдал за окружающими, скорее всего иностранцами, пришедшими, как и я, поглазеть на чудаков. Внимание мое привлекла одна пара. Напротив меня, с другой стороны образованного толпой полукруга, на удивление неподвижно стояли мужчина и женщина. По виду им было около тридцати. Он, высокий, бородастый, в старой кожаной куртке и такой же шляпе, полуобнял женщину за плечи. Она откинулась назад, прижалась к нему и так замерла. Меня поразило написанное на их лицах удивительное спокойствие, почти отрешенность. Я бывал в музее мадам Тюссо, видел восковые фигуры и нашел их мало похожими на живых людей. Секрет успеха в другом: живые люди часто похожи на восковые фигуры. Эти двое, несмотря на неподвижность, были абсолютно живыми,

и более того — я видел это совершенно ясно, — они были счастливы. Никто не может дать формулу счастья, но, когда его встречаешь в жизни, ошибиться невозможно. Эти двое были счастливы!

Никогда раньше я не видел такого безмятежного, исходящего из глубин человеческого существа покоя, такого открытого приятия простоты и полноты жизни, какое было написано на веснушчатом, со вздернутым носиком лице женщины. Я рассматривал его, не боясь быть уличенным, рассматривал как произведение искусства, и чистая радость от одного сознания, что такое бывает на свете, переполняла меня. Мне казалось, что чувство этих людей по своей естественности и даже какой-то будничности может ограничить только со смертью, так глубоко, так необратимо оно было. А я стоял в толпе и как последний дурак переживал чужое счастье, счастье тех, кто скорее всего о нем и не подозревал.

Вскоре они ушли, ушел и я. Бродя по каменистым дорожкам парка, я думал о тех двоих... И вдруг мне безумно захотелось рассказать кому-нибудь о том, что я видел, поделиться своей догадкой об их счастье. Я вспомнил художника, у картины которого совсем недавно простоял полчаса. На холсте грубыми, сильными мазками взметнулись в воздух танцующие фламинго. В них была жизнь, в них была страсть. Сам художник, тонкая натура, все время молчал, прекрасно понимая, что я чувствую, глядя на его картину, и не желая мешать. Конечно, он знал и то, что купить картину мне не по карману. Теперь я вспомнил об этом человеке. Я нашел его на том же месте, он стоял, прислонившись к машине, курил, поглядывая на гуляющую толпу. Встретившись со мной глазами и узнав, он кивнул.

Волнуясь, я рассказал ему о встрече, о чувствах, что овладели мной при виде тех двоих. Он слушал не перебивая, качая в такт моим словам седеющей головой.

— И если их писать, — закончил я, — надо писать только их головы, две рядом, одна к одной, посередине серого, незагрунтованного холста, так, как если бы работа была только еще в начале... Мне кажется, мне всегда казалось, что есть такие картины, которые просто нельзя заканчивать, иначе они умрут, жизнь покинет их, они утратят обещание будущего...

Он понимающе улыбнулся.

— Видите ли, — сказал он глубоким красивым голосом, — я заинтересован исключительно в продаже картин...

— Вы не художник?

Он покачал головой.

И я пошел по Бейсуотер-роуд к своему отелю, пошел собирать вещи и ехать в аэропорт. Должен признаться, я уже не знал и теперь не знаю, были ли счастливы те двое. Я понимаю только одно. Там, стоя в толпе на Спикерс-корнер, вглядываясь в лица этих людей, приступ счастья, краткий, как мгновение, пережил я.

## ПРОГУЛКА ПОД ЗОНТИКОМ

*Феликсу*

— Что стоишь, заходи! — Звук голоса разнесся над тихой водой.

Я стоял на крошечной пристани, раскрытой ладонью протянутой городом к реке. Сам городок, маленький и зеленый, лежал за моей спиной на высоком берегу. От досок настила к нему вела ветхая, вросшая в косогор лестница, увенчанная почерневшей от времени ажурной беседкой, какие в старые времена любили ставить над открывавшимся взгляду простором. Было время белых ночей. Призрачный свет, рассеянный и неверный, растворялся в холодном, насыщенном влагой воздухе, наполнял до краев плоскую чашу низины. На другом берегу, изумрудно зеленея, раскинулись луга, и дым костра ночного столбом уходил в высокое небо. Лягушачий хор заливался в осоке.

— Пошевеливайся! — Матрос нетерпеливо махнул рукой. — Пароход у нас веселый, не пожалеешь...

Где-то открылась дверь, и прямоугольник света, ломаясь, упал на палубу. Я ступил на скрипучие доски сходней. Пристань качнулась, подалась куда-то в сторону и вскоре совсем растаяла в серебристой мгле. Матрос ушел, проявив к моей судьбе полнейшее безразличие.

— Вам ведь не хотелось уезжать, правда? Вас что-то связывает с этим городом?

Я обернулся. После долгого сидения тело ныло, и холод скованности выходил из меня крупной дрожью. Я рассчитывал сидеть до утра и уже задремал, когда, открыв вдруг глаза, увидел перед собой пароход. Беззвучно и плавно он выгребал из лежавшего на воде тумана. Так в детстве в сладком сне является нам окутанный седыми облаками сказочный замок.

Женщина приблизилась. В причудливом свете ночи я увидел ее лицо. Теперь, вспоминая, я нахожу его красивым, как, впрочем, со временем становится красивым все, безрассудно утраченное нами. Меня поразили глаза, в их выражении я прочел ожидание чуда. Наши взгляды встретились, и сердце мое сжалось от неосознанной тревоги. Мне стало страшно от пришедшего вдруг понимания неотвратимости потери.

— Вы тоже это почувствовали? — Она пыталась рассмотреть меня в черной тени навеса. — Как-то сразу стало неуютно и тревожно... Наверное, всему причиной освещение. Оно точь-в-точь как при затмении, и поэтому беспокойно на душе. — Она помолчала, глядя на серебрящуюся у борта воду, добавила: — И еще, конечно, одиночество. Человек ведь обречен быть одиноким. Нам так легко докоснуться друг до друга, но понять... — Она так и сказала: «дотронуться», как, наверное, говорила в детстве. — Мы едины в момент душевного порыва, но стоит ему пройти, как человек снова низвергается в темницу своего «я». Беспричинная тревога, должно быть, сродни температуре, только болеет не сердце, а душа...

Она замолчала, замерла, облокотившись на поручень. Где-то внизу играла музыка, чувствовалось движение. Мимо проплывали расплывчатые силуэты берега. Вода журчала под бортом, будто само время несло наш пароходик по реке вечности. Иногда берег придвигался, и тогда из зеленого размытого пятна к нам тянулась одинокая ветка.

— Я знаю, что вы думаете, — женщина улыбнулась в пространство. — Впрочем, может быть, вы и правы. Только чувствовать и ощущать потребность в чувствах — разве это сумасшествие? Сторишь?.. Конечно, сгоришь как свеча...

Ее окликнули. Не помню имени, не помню слов. Она заторопилась, взяла меня за руку и сильно сжала:

— Я найду вас, мне с вами хорошо. Вы все так тонко чувствуете и говорите...

В следующее мгновение ее уже не было рядом. Внизу с новой силой грянула музыка, и пароход содрогнулся. Я постоял еще немного, прислушиваясь к плеску волн и стараясь хоть что-то понять. Тщетно. Предутренный туман ложился на луга.

Внизу, в теплом до духоты чреве парохода, гремел карнавал. Белые короткие вспышки прожекторов выхватывали из темноты

танцующие пары. Свет гас, но я все еще видел застывшие лица и позы людей. Оркестр неистовствовал. Кто-то сунул мне в руку стакан. Я сделал глоток. Горло обожгло, но блаженное тепло уже растеклось по скованному телу. Кто-то хлопал меня по плечу, толкал, подливал еще. Все говорили разом, и от этого и от грохота оркестра все плыло у меня перед глазами. Хаос царил на земле, хаос царил в зале, и я был частичкой этого хаоса, затерявшейся среди других и оттого счастливой.

— Всех благ не заграбастаешь! — пел кто-то в черном, извиваясь у микрофона.

Бум! Бум! Бум! — вторил ему барабан.

— Всех денег не нахапашь!

Ша, ша, ша... — звенели медью тарелки.

— Всего, что ни нальют тебе, не выпьешь никогда!

Меня тащили в круг, и вот я сам уже выделял замысловатые па, и зависал, и растворялся в согретом телами плотном воздухе. Все смешалось и плыло в моей бедной, блаженной голове, и черная маска обезьяны уже грозила мне пальчиком, призывно смеясь большим женским ртом. Обезумевший прожектор метался по залу, певец завывал... Я увидел ее!

— Пустите, пустите меня! — заорал я что было сил и начал расталкивать танцующих, но они лишь смеялись, еще теснее смыкая круг.

Когда я наконец выбрался на палубу, она была уже там. Похолодало. Нежный цвет зари тоненькой каемкой окрасил горизонт. Туман почти совсем рассеялся и лишь кое-где лежал клочками на воде.

— Вон, видите, — она показала рукой, — это колесо обозрения, а рядом качели и гигантские шаги. Когда ветер, все скрипит и стонет на разные голоса, и от этого становится жутко.

— Зачем они здесь посреди поля?

— Как вы любите слово «зачем»... — Женщина покачала головой. — Зачем они здесь?.. Зачем мы здесь?.. Просто так уж устроена жизнь — прогулка под радужным зонтиком. Впрочем, все это лишь игра в слова, а от них устаешь. — Она зябко передернула плечами. — Вот уже и рассвет. Ночь иллюзий прошла, а утром... утром мы все, все забудем. Что мне до вас? Что вам до меня?..



Она пошла вдоль борта, придерживаясь рукой за поручень. Сто тысяч псов завывали разом, сто тысяч кошек заскребили у меня на сердце. Моя бедная пьяная душа рвалась на части.

— Я... я увижу вас завтра?

— Непременно! — Она обернулась, улыбнулась грустно и устало. — Только берегитесь, утро не знает миражей и снисхождения ночи!

Когда я открыл глаза, был день. Уборщица в синем халате переходила от стола к столу, собирала пустые бутылки. Тяжелый запах застарелого табачного дыма и кислых окурков висел в воздухе, не давал вздохнуть полной грудью. Я все вспомнил. Заспанный и мятый, я пересек разоренный зал и вышел на солнечный свет, вышел в город, куда стремился попасть всего лишь несколько часов назад. Я ничего не чувствовал, ни о чем не думал, и на душе у меня было пусто и пыльно, как в заброшенном колодце.

— Брось, — сказал мой друг, — не трави себя. Знаем мы, как это бывает. Видишь ли, — сказал мой друг, — живем тускло, вот несбывшееся и бунтует. Ты все придумал, — сказал мой друг, — а это опасно, несбывшееся отравляет...

Он прав, мой бедный друг. Он всегда прав, оттого, наверное, с ним ничего никогда не происходит.

Прошли годы. Я вспоминаю мою незнакомку. Что мне до нее? Что ей до меня? Время давно уже затянуло ту обнаженность чувств, к которой мне так мимолетно удалось прикоснуться. Но тогда почему порой вдруг так сладко защемит сердце и ощущение потери влечет меня бежать в ночь, чтобы еще хоть раз увидеть выгребавший из тумана призрачно-белый пароход?..

*1983, апрель*

**Николай Дежнев**

Рассказы

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*

Редактор *Н. Саркитов*

Художественный редактор *О. Скочко*

Корректор *И. Яковенко*

Компьютерная верстка *Е. Яковенко*

Подписано в печать 28.02.08 г.

Формат 70x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная.

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.

Тираж 57 000 экз. Заказ № 0805330.

ТЕРРА—Книжный клуб.

127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



# Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты  
открыта подписка на следующие издания:

<b>Универсальный словарь:</b> В 4 томах	1390 р.	<b>Мериме П.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
<b>Большая Энциклопедия «Терра»:</b> В 62 томах	74400 р.	<b>Монтень М.</b> Опыты: В 3 книгах	890 р.
<b>Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона:</b> В 86 полутомах	68000 р.	<b>Моруа А.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
<b>Михельсон М.</b> Труды по русской фразеологии: В 6 томах	1960 р.	<b>О. Генри.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	995 р.
<b>Детская энциклопедия:</b> В 10 томах	4620 р.	<b>Островский А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1014 р.
<b>Энциклопедия «Великий час океанов»:</b> В 5 томах	2250 р.	<b>Песков В.</b> Сочинения: В 9 томах	2520 р.
<b>Авенариус В.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	990 р.	<b>Похлебкин В.</b> Сочинения: В 6 томах	1450 р.
<b>Алданов М.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1232 р.	<b>Ремарк Э. М.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1592 р.
<b>Андерсен Х.-К.</b> Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	<b>Родари Дж.</b> Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
<b>Блок А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	<b>Сабанеев А.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1456 р.
<b>Бунин И.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	<b>Сабатини Р.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	1820 р.
<b>Гиббон Э.</b> Закат и падение Римской империи: В 7 томах	1386 р.	<b>Софья де Сегюр.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
<b>Горький М.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	936 р.	<b>Сименон Ж.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	1990 р.
<b>Гранин Д.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	<b>Соловьев Вс.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
<b>Грин А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	<b>Уэдсли О.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
<b>Долгополов И.</b> Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	<b>Флеминг Я.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
<b>Карамзин Н.</b> Полное собрание сочинений: В 18 томах	3060 р.	<b>Фолкнер У.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
<b>Колетт С.-Г.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.	<b>Хаггард Г. Р.</b> Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
<b>Купер Ф.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	1845 р.	<b>Чуковский К.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
<b>Лесков Н.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1015 р.	<b>Ян В.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.